

Б-4

АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ

ФЛАГ  
*над*  
СЕЛЬСОВЕТОМ



80

АЛЕКСЕЙ НЕД

ФЛАГ

*над*

СЕЛЬСОВЕТОМ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР  
ПЕТРОЗАВОДСК 1949

*Постановлением Совета Министров СССР  
от 3 апреля 1948 г.  
Недогонову Алексею Ивановичу  
присуждена Сталинская премия  
первой степени за поэму  
«Флаг над сельсоветом»*



1

От зари и до зари,  
через сотни синих рек,  
сквозь чужие пустыри  
едет, едет человек.

Тишина оглушена,  
бьют копыта в тишине:  
едет, едет старшина  
по Европе на коне.

Впереди — холмы, холмы,  
да костёлы, да мосты,  
сзади — горькие дымы,  
да могильные кресты.

За плечами — тишина,  
пред очами — путь прямой.  
Едет, едет старшина  
из Германии домой.

Едет молча на Десну  
мимо леса, вдоль села,

той дорогой, что в войну  
на Германию вела.

И повеяло степным,  
луговым,  
лесным,  
цветным:  
чем-то давним и родным —  
откровением земным.

Тишина оглушена,  
бьют копыта в тишине:  
едет, едет старшина  
по России на коне.

Он Житомир посетил,  
где со взводом воевал,  
он в райкоме погостил,  
где с пехотой ночевал.

По наитью, по мечте,  
он заехал в Конотоп:  
на двенадцатой версте  
всадник выискал окоп.  
Здесь, омыв снегов покров,  
пролилась солдата кровь.

На заре, по ходу дел,  
он на Харьков завернул.  
На Мерепу посмотрел.  
В Балаклею заглянул.

Сколько выпито до дна  
счастья с горем пополам!  
Едет, едет старшина  
по лесам да по полям.

На Днепре и на Донце,  
на Миуссе, на Дону  
в этом всаднике-бойце  
узнавали старшину.

Приглашали всем селом  
на две чарки, на обед,  
воскрешали за столом  
все события прошлых лет —  
и печаль и торжество  
в славе прожитых годов...

Между прочим, для него  
деды прочили сватов.  
Гостю полнили бокал,  
гостю метили насест.  
Гость на зиму намекал:  
дескать, поздно прискакал,  
дескать, рано до невест.  
А в душе — теплым-тепла —  
думка старая жила:  
«Из Берлина вышел в путь  
я в июле, на заре,  
а придется заглянуть  
в дом невесты в октябре.  
В поле зимушка близка —  
далека моя Ока!»

Миновав низы Мамон,  
всадник Волгу посетил.  
Разыскал курган, где он  
землю, вжатую в бетон,  
первой кровью оросил.

Постоял он пять секунд  
возле этого леска,

возле этого дубка,  
возле бронеколпака,  
замурованного в грунт.  
Молча въехал на хребет,  
глянул к югу на поля:  
— Здравствуй, родина побед,  
сталинградская земля!  
Здесь — в снегу, в крови, в пыли —  
я судьбой твоею жил!..

Воин в сумку горсть земли  
сталинградской положил.

За чертою городской  
всадник местность оглянул,  
помахал реке рукой  
и на Север повернул.

. . . . .

Свет из окон: тишина.  
По пороше, при луне,  
едет, едет старшина  
по Рязани на коне.

2 .

Запах тепла. Палисадник.  
Доброй ночевки примета.  
В Доме колхозника  
всадник  
заночевал до рассвета.

Знамых сельчан не встречая,  
рад был беседе случайной.  
Утром  
грузинского чая  
выпил в проснувшейся чайной.

Чайная пчелкой гудела.  
Села старушка за столик.  
Сбросила шаль.  
Посидела.  
На ордена поглядела:  
— Чай, из Берлина, соколик?  
В экую даль от Рязани  
брошена долюшка ваша!  
Ехал, небось, в ероплане?  
— На лошаденке, мамаша.  
— На лошаденке? Оттуда?  
Трудно, соколик, поверить.  
Это ж, родимый, придумное чудо.  
— Можно, мамаша, по справке проверить.  
Слово, маманя, моё — не полушка:  
вот документ о военной лошадке...  
— Что ж, документ не игрушка...  
И убедилась старушка:  
всё, мол, с лошадкой в порядке.

— Так что почти без ночёвок  
ехал российским простором.

— Сам-то откуда?

— С Дубровок.

— А величают?

— Егором.

Вдруг удивленно  
со стула

разом старушка привстала,  
ахнув,

руками всплеснула —  
сына соседей узнала.

И почему-то всплакнула.

И ничего не сказала.

Опоздал,  
                   опоздал,  
                                   опоздал,  
   опоздал! —

грохотали по грунту копыта в пути.  
 Он подъехал к селу.  
 Он избу увидал.  
 Слез с коня.  
 Под уздечку буланого взял  
 и решил не спеша до калитки дойти,  
 чтоб душой разглядеть перемены села...

...новой кузни дымок,  
 ...телеграфа струна,  
 ...мостовая из камня селом пролегла.

И казалось:  
 на тысячи верст — тишина.

— Как тебя, дорогая Дубровка моя,  
 проходя,  
 ненароком коснулась война?..

А снежок все летел,  
 все летел:  
 над плетнем,  
 над избой, над садами. Село серебря.  
 И шагал старшина с европейским конем  
 под безгромным,  
 навесным  
 огнем  
 ноября.  
 И знакомая улқа дорогу дала —  
 словно вещая сила снега размела.

На окраине стучал одинокий мотор.  
Журавель над колодцем,  
как в детстве,  
скрипел.  
Снегири на снегу.  
Под рябиной забор.  
Рябь следов у калитки.  
И думал Егор:  
«Ничего, что немного в боях постарел.  
И такого узнают в родимой семье».

Вот он в сени вошел.  
Не вошел, а вбежал.  
Увидал:  
посредине избы  
на скамье  
в молчаливом гробу его батька лежал.

Серафима Петровна,  
солдатская мать!  
Всю войну ты мечтала о сыне своем.  
Вот он — сокол — с тобою.  
Не можешь узнать?  
Вытри слезы. Гляди  
Вот он — в доме родном...  
Неужели не видится, мать?

Ой, узнала,  
узнала старушка сынка!  
Заметалась в слезах,  
как в горячем дыму:  
ей хотелось,  
хотелось поднять старика...  
— Встань, Савелий!  
Великая радость в дому.

Встань, родной,  
полюбуйся героем своим!  
Сын вернулся живым,  
да высоким каким.  
Встань, Савелий,  
я стол вам накрою двоим!  
Ну, побудь,  
посиди хоть минутку живым!  
Ну, глаза приоткрой,  
ну, взгляни на сынка!..

Ей хотелось рыданием поднять старика,  
заклинаньем,  
как мёртвой водой родника,  
причитаньем,  
живою водой  
оросить,  
силой женской слезы оживить:  
воскресить!

Серафима Петровна,  
крестьянская мать,  
разве думала ты,  
что случится тебе  
слезы горя и счастья с ресницы снимать  
в потемневшей —  
и вдруг  
просветлевшей избе?!  
Разве знала,  
что двум неизбежным слезам  
суждено в этот день  
заискриться в глазах?..  
Пополудни  
вдоль плачущих изб  
по снегам

плыл торжественный гроб  
на льняных рушниках.  
Старики в полушубках угрюмые шли  
И казалось,  
что плакала вьюга окрест:  
нёс Шопена за гробом  
районный оркестр,  
и цветочный венок  
пионеры несли.

Шел Егор  
в гимнастёрке своей боевой:  
«Слава» трех степеней  
на широкой груди.

А родитель —  
Широков —  
лежал как живой:  
подойди  
и улыбку его разгляди...

Сын смотрел  
на суровость отцова лица —  
всё такая ж,  
как в самом начале войны;  
на весёлые,  
крупные брови отца —  
всё такие ж,  
с полосками седины.

И припомнил Егор  
на рязанской земле —  
фронтовые,  
последние зимние дни.  
Вот в такую ж погоду,  
в провьюженной мгле,

вот с таким же оркестром  
в германском селе  
командира полка хоронили они.  
— Спи, Широков Савелий,  
родовой хлебороб.  
Ты с великою пользой  
в Дубровке прожил!..

Развязал из сатина кисет —  
и на гроб  
горсть земли сталинградской  
Егор положил.

Как была она —  
эта земля —  
тепла!

Как была она —  
эта земля —  
крепка!

И ударил оркестр  
на краю села...  
Как река Ока  
холодна тоска.

4

Снега́ в полях —  
лучи в очах:  
сиянье зимнего убранства!  
Зима, как сказка,  
вся в лучах.  
Рассветом сковано пространство —  
оно в надежных обручах.

Трещат, как грецкие орехи,  
морозцы инистой земли.

Снега по самые застрехи  
село с востока занесли.

Да занесли не просто, чтобы  
над крышей ветру их ласкать,  
а чтоб могли зарю сугробы  
до петухов не допускать...

Неописуемые виды!  
Все величавей, все плотней —  
египетские пирамиды  
сугробов  
около плетней.

К рассвету —  
в дивном беспорядке —  
навешал пóходя мороз  
гостинцы неба  
на рогатки  
екатерининских берез.

И в пору эту,  
в пору эту,  
под легким дымом очага,  
от всех калиток к сельсовету  
бегут тропинки сквозь снега.

А от колхозного порога  
все ўже,  
все синей, синей —  
дорога, зимняя дорога...  
Шумок касимовских саней.  
Да выкрашенные в морозы —  
воскрылья зорек за окном:  
флажки маршрутного обоза,  
в район плывущие с зерном.

Да в волны большака влюбленный,  
зудящий в стеклах избяных,  
корабль полуторки районной  
с шофером  
Сенькой Кузьминых.  
Да перед керзовой кабиной —  
раздвинувший зари заслон,  
чуть накрененный,  
ястребинный,  
перегоревший  
небосклон!

5

Серафима Петровна гордилась сынком:  
молодчина такой,  
работяга такой.  
Всё ходил по дворú с топором,  
с молотком —  
выпрямлялось хозяйство под умной рукой.  
Там закут утеплил.  
Там овин залатал.

А под вечер  
у лампы  
припомнил своё:  
из кармана открытку невесты достал,  
трижды девичью надпись  
о любви прочитал...

— Я, маманя, никак не могу без неё.  
Не могу, дорогая...  
Уж пятый годок,  
понимаешь ли, мама, тоскую по ней —  
по голубке своей, Зинаиде своей —  
понимаешь, грущу.

— Понимаю, сынок.

Воля ваша.

И я не перечу, сынок.

А невеста — душа.

И собой хороша.

И совсем я не против.

Тебе видней.

Серафима Петровна шерстянку сучит.

и довольной улыбкой сияет лицо.

Зимний вечер в окошко

мотором стучит,

зимний сумрак сторожко

идет на крыльцо.

Взволновал разговор Егора:

закружился, засуетился.

Снял рубаху —

и скорó-скоро

бритвой зингеровской побрился.

Выбрил бороду чисто-гладко.

Но, по ходу гвардейских правил,

для парада и для порядка

боевые усы оставил.

Только чуточку их подправил —

каплю ровности им добавил.

Подкрутил —

красе на потребу

и взвинтил

остриями

к небу.

Веселее и просторней стало, —

и усталость-то куда девалась.

А мамаша в уголке мечтала

и почти до внука домечталась.

«Ежели друг дружку полюбили —  
не хочу и словушком перечить,  
ежели друг дружку не забыли —  
не сподручно волюшку увечить.  
Будем жить по чести и по дружбе...  
Вот к какой его приставят службе?  
Агрономом ли пристроют к делу?  
Иль опять служить ему, солдату?  
Иль пойдет Егорка в земотделу?  
Иль пойдет в военную комату?  
С ним должны считаться, как с партийным —  
голова ведь.

Ну, а мы со сватьей  
будем жить в согласии семейном,  
не придется с зятем горевать ей.  
Буду в гости ездить по субботам  
к сватушке с невесткой в деревеньку.  
Зинушка с Егоркой за работой,  
я с внучонком дома помаленьку.  
Уж тогда пойдет работа спорко:  
дела много и почёта много.  
Для района нашего Егорка —  
оченно приметная помога».

Серафима Петровна шерстянку сучит,  
и счастливой улыбкой сияет лицо.  
Зимний вечер в окошко  
мотором стучит,  
зимний сумрак сторожко  
идёт на крыльцо.

6

А на третий день,  
не успел Егор  
оглянуться —

мальчонка к нему во двор.  
Пробасил деловито,  
словно в дуду:  
— Приглашают в правленье!  
— Скажи — иду.

Приоделся.  
Пошел до коня.  
В загон.  
Натянул узду.  
Закрепил седло.  
И Капрала буланого вывел вон.  
И провел под уздцы  
через все село.  
Подошел к коновязи —  
к зубцам плетня,  
привязал,  
да к ноздрям подгорнул сенца,  
за гривуху любовно трепнул коня  
и вбежал  
на соломенный лёд  
крыльца.

. . . . .  
В правлении Егор сельчанам  
рассказывает о буланом.

— В роте коня отказали,  
дали отказ в батальоне,  
и в интендантстве сказали:  
«Бросьте, мол, — кони да кони!  
Вас, старшина, на вокзале  
ждут земляки в эшелоне».  
С думкой проститься заветной?  
Нет! Несогласный с отказом,  
вышел на зорьке рассветной,  
в час — до подъема — секретный,

тропочкой неприметной:  
вышел к буланому с тазом.  
Вынес баварского мыла,  
вымыл гуманной водицей,  
попоздни — любо и мило —  
вычистил ротной скребницей,  
толком проверил подковы:  
все ли копыта толковы?  
Есть ли какие наросты?  
Нет ли трофейной коросты?  
Вплел гривачу напоследок  
в гриву цветов —  
и решился:  
будь, мол, что будет.  
И эдак  
я к генералу явился.

Тут уж — припомню по чести —  
в сердце надежности были:  
ведь с генералом мы вместе  
трижды в атаки ходили.  
Глянул:  
подумалось сразу —  
делу не будет отказу.

«Ну, вопрошает, какую  
просьбу принес напоследок?»  
Я по-гвардейски толкую  
смелостно:  
так, мол, и эдак,  
дескать, в душевность войдите:  
с поля победного брани —  
так, мол, и так —  
разрешите  
ехать в седле до Рязани!  
Очень уж тянет солдата



глазом бойцовским увидеть  
землю, что немец когда-то  
мог до Кавказа обидеть.  
Хочется сердцем поверить  
в путь, что прошли мы с боями,  
хочется шагом измерить  
землю, спасенную нами.  
Хочется. Нету терпенья.  
Как уходящий в отставку,  
я бы просил разрешенья  
дать...  
на буланого справку.  
Я его, дескать, в обозе  
выхолил мало-помалу...  
И намекнул генералу:  
ждут, мол, подарка в колхозе.  
В этом разрезе уж мне хоть  
вы б разрешили по форме,  
не на закрытой платформе,

а на лошадке проехать.  
Мне б до рязанских окраин —  
там и колхоз недалече...  
Расхохотался хозяин —  
наш генерал Караваин, —  
руки кладет на плечи:  
«Ну что ж,  
говорит,  
не перечу,  
пойду,  
говорит,  
навстречу».  
А на прощанье  
гордо  
плечи расправил,  
глянул в глаза  
и твердо  
добавил:  
«Если до дому придешь —  
к своим дорогим сельчанам,  
верю, что не забудешь  
поклон передать крестьянам.  
Так и скажи в России  
о нашей военной силе:  
если б не вы, мол, крестьяне —  
Волги, Сибири, Кубани,  
Украины и... Рязани, —  
врага бы мы не сломили.  
Мы вас своей судьбою  
в годы войны называли:  
до боя и после боя  
колхозной щедрой рукою  
вы нам стол накрывали,  
а если солдат нехватало —  
вы в шинель одевались...  
Спасибо.

От генерала.  
Ну что ж, говорит,  
до свиданья,  
благодарю за отвагу...»  
Обнял меня на прощанье  
и дал...  
на коня бумагу.

В волненье в тот час правленья  
вынесло предложение:  
срочно беседу эту  
командующего с Егором  
в районную дать газету  
трехколонным набором —  
с таким, как был,  
разговором.  
Казалось,  
что все селенье  
следило сквозь жилки окон,  
как у крыльца правленья  
веселый Егор Широков  
от имени генерала  
энской гвардейской части  
колхозу вручал Капрала —  
лошадь буланой масти,  
как  
у крыльца скрипучего,  
улыбку скрыв бороною,  
конюх  
хитро покручивал  
новенькою уздою!

7

В село вернулось пятеро  
из армии стрелков.

Шестым  
к старушке-матери  
пришел Андрей Дубков.

Сегодня — в воскресенье —  
прибытью сорок дней.  
В избе, ну нет спасения,  
гремит землетрясение  
подвыпивших парней.

Дубков по кругу с брагою  
ходил,  
о стол гремя:  
бахвалился «Отвагою»,  
«Варшавою» да «Прагою» —  
медалями тремя.  
Шумел себе в угодину,  
оскомное крутил:  
— Я матушку, я родину  
от немца защитил!  
Так что ж, имею ль право я —  
крестьянский сын Дубков —  
в селе гульнуть со славою  
меж земляков —  
дружков?  
Уж ты меня за брашины,  
маманя, не брани...

А на столе мамашины —  
обедние,  
последние —  
лежали трудодни.  
Ни имени, ни отчества  
не спрошено у них:  
подобрано все дочиста  
в кладовках избяных.

Из мисок,  
кринок  
и бачков  
всё выбрано до дна...

...Заметил вдруг Андрей Дубков  
Егора  
из окна.

И почему-то пальцы сжал  
и задрожал  
как лист:

— Ну, что ж, привет,  
сосед мой, свет,  
заокский гармонист!..

Знать,  
снова встреча на Оке...

И зубы сжав, Андрей,  
в одной сорочке, налегке,  
выходит из дверей.

Идёт по снегу,  
щурится,  
враскачку  
под хмельком.

Посередине улицы  
стоит Егор с Дубком.

Егор глазами свысока  
стрелял  
в дубковские зрачки.

Играли зудом у Дубка  
в карманах кулаки.

Он им хотел работу дать:  
широковский висок достать.

А вот за что? —  
он сам не знал.

За что? —

припоминал.

Ах да! За встречу под мостом  
в тот любовный год!

Но вдруг решил сказать о том,  
что он, Дубок, в селе родном  
не как в родном живет...

— Скажи, Егор, мне напрямки,  
коль правда — не беда:  
почто со мною земляки  
здоровкаются вполруки?  
Не злобствуют ли?

— Да.

— Вот, значит, что?!

Скажи тогда,  
коль правда — не беда:  
меня ты ненавидишь?

— Да.

— И есть причина?

— Да.

— За что? Иль может быть за то,  
что грудь моя, как решето?  
Что здесь...

(И он рубаху врозь  
рванул. И обнажил  
тупые шрамы — вдоль и вкось —  
с узлами рваных жил.)

...что в легких... здесь...

не стон, а крик,  
что вбила мне война  
сюда проклятый золотник  
чужого чугуна?

За это ненавидишь ты  
меня — фронтовика?

И тут сверкнула у виска  
дубковская рука.  
Но вдруг...  
на полпути Дубок  
притормозил замах:  
перед ним стоял Егор — как бог,  
спокоен, строен и высок:  
Дубок Егору по сосок  
был ростом на снегах.  
Широков мог бы враз Дубка  
согнуть в бараний рог.  
Но он спокойно, свысока,  
сказал:  
— Побойся... сквозняка,  
поди усни, Дубок.  
Сказал.  
И повернул к себе —  
к широковской избе.

8

Андрей Дубков всю ночь не спал:  
в глазах стоял Егор.  
Вечерний хмель немного спал,  
бессонница,  
как жаркий пар,  
Дубку мutila взор.  
Влез под шинель —  
живой комок —  
зевнул,  
хотел уснуть — не мог.  
В оконцах — ветер,  
в печке — вой:  
нетоплено в избе.

Дубок за сорок дней впервой  
стал тошен сам себе.  
Он в этот миг забыл покой, —  
как будто часу ждал —  
он торопливою рукой  
с себя медали снял.  
Он так спешил,  
как будто там,  
в его родном полку,  
сбирались ехать по пятам  
с проклятием к Дубку...

Вдруг словно кто-то дверь открыл  
и медленно заговорил:  
«Ты что, Дубков, бойцам сказал,  
когда покинул полк?  
Кого бездельем наказал?  
Сельчан? А где твой долг?  
А что ты говорил в строю  
пред тем, как уходил?  
Почто ты армию свою  
перед селом, в родном краю,  
унизил, осрамил?  
А ну, Дубков, поди сюда,  
стань здесь, чтоб был видней:  
подай нам плод того труда,  
что добыл в сорок дней!..»

Мела за окнами метель.  
Светало.  
И Андрей  
накинул наскоро шинель  
и вышел из дверей.  
В большом широковском окне  
светился огонек.

В избу Егора, как во сне,  
вошел Андрей Дубок.  
Вошел с поникшей головой,  
не поднимая взор.  
— За давешний проступок мой  
прости меня, Егор.  
Прости. Вспылил.  
Таков уж нрав,  
сызмальства дурь живет.  
Ты не при чем. И я — не прав.  
Не прав, Егор. Ну, вот...  
Ну, вот и весь мой разговор...  
Прощай, — сказал Дубок.

— Не уходи, — привстал Егор. —  
Присядь к столу, Дубок!  
В виски Дубку ударил зной,  
неостывающий, сквозной:  
сжигающий укор...

С какой-то горестью грудной  
заговорил Егор.  
— Всё то, что ты пробормотал,  
я не беру в расчет.  
Ты вот скажи мне —  
кем ты стал?  
Где прежний твой почет?  
Три года был ты на войне,  
ты славу заслужил.  
Пришел в Дубровку —  
и в вине  
ты славу утопил.  
Ответь:  
за эти сорок дней  
что сделал ты?  
— Тебе видней...

— Ты говоришь, в войну устал?  
А правда ль то, Андрей?  
Ты во сто раз сильнее стал  
и во сто раз бодрей.  
Ты сорок дней живешь в селе.  
Ну ж, говорят, привык  
ходить в селе навеселе  
махровый фронтовик!  
Прими слова мои всерьез:  
обида велика,  
что величает весь колхоз  
нахлебником... Дубка.  
Коль он, мол, ходит под хмельком  
и силу держит под замком —  
и мы б гульнуть должны.  
Мы были, мол, в войну с Дубком  
одним трудом равны.  
Войне конец, но нам не срок  
пока на печку лезть:  
у нас, мол, фронтовик Дубок,  
у нас, мол, ратный лежебок,  
на всех работа есть...  
Да наплевать им на твои  
медали, если ты  
находишь в них одни бой —  
заслуги прошлые свои.  
А в них ты просмотрел, Дубок,  
пилу, топор, и молоток,  
и гвозди, и болты.  
Все, что тебе на грудь дают,  
а им — в колхозный двор, —  
все это наш единый труд:  
из одного металла льют  
медаль за бой,  
медаль за труд,  
и пушку, и топор...

Теперь ответь, коль не секрет,  
коль правда — не беда:  
ты на меня в обиде?

— Нет.

— Надолго?

— Навсегда...

— ...А что касается обид

и ссоры у мостов

из-за Наташ и Зинаид,

и личных всех счетов, —

не те уж, братец, времена,

чтоб зло в себе носить.

Обиде личной — грош цена,

когда нам нужно меж людьми,

ты понимаешь, чорт возьми,

с открытым сердцем жить!

Привстал из-за стола Егор:

— Вот каковы дела...

Меж тем рассвет вошел во двор,

и женщина вошла.

В сенях слышались шаги,

ступили на порог.

— Егор Савельич, помоги:

в печи осунулись круги,

забило боровок.

Не в силах справиться сама,

не приложу ума.

А мне бы нужно до звена —

перебираем семена...

А на дворе — зима...

И вдруг негромко

в тишине

заговорил Дубок:

— Егор Савельич, может мне  
взглянуть на боровок?  
Хорош иль худ, а как-никак  
печник давнишний я:  
по этой части я мастак —  
профессия моя.  
Уж справился б наверняка.  
— Ну что ж. Поди взгляни.

И вспыхнули в глазах Дубка  
весёлые огни.

9

В начале года —  
нынче-то —  
погода  
половинчата.  
Ну вот тебе —  
не гоже ведь —  
то оттепель,  
то ожеледь,

то лужица  
завьюжится,  
то стужица  
закружится,

то стелется,  
то колется  
метелица  
в околице!

С зарей, со всех семи сторон,  
такой погода выдалась:  
до горизонта  
виделось!

Ждал свиданья Егор упорно —  
не сиделось ему на месте.

Он сегодня решил  
по форме  
заявиться к своей невесте:

бритым,  
в кителе,  
с орденами,  
и на левой руке  
с часами.

Приготовил ей пару брошек,  
заказные  
туфли резные,  
и на платье —  
цветной горошек,  
и в семнадцать камней  
ручные.

А для тёщи —  
платки-подарки:  
очень яркие —  
московской марки.

Не забыл захватить  
портреты,  
и статейку на полгазеты  
с фотографией посредине,  
на которой,  
в дыму-тумане,  
во главе с Егором  
в Берлине —  
бронбойщики из Рязани.

Ух, жгучая!  
Ты самая

живучая,  
зима моя.

Пусть вó поле  
ни дьявола:  
ни тополя,  
ни явора —

твои постели  
дымчаты, —  
меня в метели  
вымчи ты,

в снега округи  
вымчи ты:  
в яруги выюги  
выемчаты,  
зимушка  
сугробная!

Эх, Зинушка  
зазнобная!

Голубкой неизменчивой  
она Егору помнится —  
застенчивая  
скромница:  
(Она не пава — где уж там! —  
не королева звездная)  
девушка  
колхозная...

В душе ее кручинушка,  
колючее иголышко:  
чуть мама в сени —  
Зинушка

все дует на стеколышко:  
«Не едет ли Егорушка?»

Всё смотрит сквозь кристалики,  
через глазок привьюженный:  
не едет ли издáлека  
к ее крылечку суженый?!

12

С рассвета  
где-то  
топоты:  
у сельсовета  
хлопоты.  
Одно и то же,  
бегая:  
— К саням не гожа  
пегая!..

Гнедая пара занята:  
тропа копытом тронута.  
А сани-то!  
А кони-то!

Не кони —  
бури веянье,  
как по небу  
ревение!  
Снега в морозе —  
простыни.  
Свистят полозья:  
росстани.

Поля грабастая,  
летят гнедые,  
летят гривастые —  
седым-седые.

Свистит завьюженный  
большак суровый —  
трёх, этак, с дюжиной  
километровый.

Эх, знать бы загодя —  
когда приснится  
лукошко ягоде,  
жених девице?

Гребнём грабастая  
снега седые,  
летят гривастые,  
летят гнедые.

Большак завьюженный  
свистит санями:  
военный суженый  
хмелён конями!..

...Не манят Зинушку  
следы, что около.  
Ждёт в эту зимушку  
синичка сокола:

«Эх, знать бы загодя —  
к чему всё снится  
прогалка в ягоде,  
в лесу криница,  
да звезды ясные  
у колыбели?..»

И вдруг гривастые  
во двор влетели!

13

— Аграфена Николавна, здрасте.  
Из Берлина к вам явились гости!

Тёща ахнула:

— Ах, батюшки, напасти...

и не ждали...

раздевайтесь... шубку сбросьте...

Каруселью пожилая закружилась,  
будто винтика хозяйского лишилась.

Попыхами

опрокинула ведерко,

с петухами

полотенце обронила.

А невеста только крикнула:

— Егорка!

Обхватила.

И головку прислонила.

И как птичка-невеличка задрожала

на груди его

горячей и широкой,

и слезинка,

как росинка, пробежала

по щеке его невесты

синеокой.

И стоял Егор недвижно посредине,

заклучив ее —

любовь свою —

в объятья.

И к его глазам прихлынул

синий-синий

август  
от невестиного платья, —  
от того,  
в котором тосковала,  
к жениху в котором  
наезжала,  
три весны в котором  
целовала,  
на войну в котором  
проводжала!

14

Как садились за стол  
посредине избы —  
нехватало солдат  
да армейской трубы.  
Как по чарке одной  
опрокинули враз —  
нехватало лишь песни,  
чтоб слёзы из глаз.

Как запела невеста —  
песню в дом не вместить —  
нехватало подруг,  
чтоб запев подхватить.

Да как обнял невесту  
весёлый жених —  
нехватало фотографа  
в доме у них.

Тёща фартуком слёзы  
снямала с лица.  
Предлагала зятю

то грибков,  
то винца.  
И не знала,  
куда себя — старую — деть...  
И пришлось  
пуховой полушалок надеть.  
Поднялась:  
— Коровенку пойду напою,  
да овец посмотрю,  
да дровец наколю...

. . . . .

На крылечке Аграфена Николавна,  
руки на груди скрестив,  
стояла.  
«Это — худо. Это — неисправно».  
Всё хозяйским глазом примеряла.  
Гордая —  
стояла на морозе.  
С думкою  
присела на ступеньку:  
«Зинушка с Егорушкой — в колхозе,  
я с внучонком — дома помаленьку.  
Уж тогда пойдет работа спорко:  
дела много  
и почета много.  
Для колхоза нашего Егорка —  
оченно приметная помога».

Ветерок сбивал с повети вьюжки:  
сколько снегу у крыльца набилось!  
Думала старушка — и старушке  
всё теплей от думок становилось.

Субботний день —  
 недели тень.  
 И вдруг, как свет,  
 в субботний день:  
 Егора сельский почтальон  
 запиской пригласил в район.  
 Семнадцать верст, на ветерке,  
 Широков отмахал:  
 Егор Савельич налегке  
 по городку шагал.

И вот —  
 знакомое давно  
 райземотдельское окно.  
 Крыльцо.  
 Крутой табачный дым.  
 — Егор Савельич, сколько зим!..  
 Сверканье любопытных глаз,  
 уполномоченного бас:  
 — Добро пожаловать, Егор  
 Савельич, к нам во двор.  
 Давно, Савельич, не бывал  
 в районе у меня.  
 Чай, всю войну провоевал?  
 — Поменьше на три дня.  
 — А мы уж тут все об одном:  
 мол, был Широков — клад,  
 мол, вот Широков, агроном,  
 кабы пришел назад.  
 Мол, он специалист большой,  
 и стаж, и опыт за душой,  
 а тут еще повоевал...



Егор за пару дней  
в трех кабинетах побывал —  
у трех секретарей.

...Весёлым шел Егор домой  
в Дубровское село.  
И стало вдруг ему зимой  
теплым-тепло,  
теплым-тепло.

Казалось —  
нет вокруг снегов,  
а только рожь да рожь...  
...среди дубрав,  
среди лугов  
денёк-то как хорош!  
Поёт Егор.  
Поют поля.

И словно подголосьями  
звонит рязанская земля  
тяжелыми колосьями.

Идет Широков по степи, —  
свежа трава дорожная:  
на васильки не наступи,  
с горошком осторожнее!

Егор не устает итти  
тропинными обводами.  
Егор гордится на пути  
хлебами, огородами.

Земля зовет его зерном,  
добротную пшеницею:  
— А ну, товарищ агроном,  
проверь мою кондицию!

Подсолнух — с шапкой набекрень —  
стоит и улыбается:  
— Егор Савельич,  
добрый день,  
ну, каково шагается?!

Идёт Егор.  
Поёт, поёт.  
А рожь, а рожь-красавица  
ему проходу не даёт,  
его плеча касается.

Цветет земля.  
Шумят хлеба,  
шумят луга покосные...

— Так вот страны моей судьба —  
поля мои колхозные!  
Раздолье, — прошептал Егор.  
И вдруг исчез  
лугов простор.  
И — снова снег.  
И — лета нет.  
Читальня. Кузня. Сельсовет.  
А вот из собственных дверей —  
навстречу —  
сам Дубков Андрей.  
Остановились.  
И в упор  
Широков начал разговор,  
как будто нынче срок:  
— Рубаха есть? — спросил Егор.  
— Есть, — отвечал Дубок.  
— Так вот, Андрей, мои слова —  
и ты их смысл учти:  
коль есть рубаха —  
рукава  
по локти заката.  
В Райзо сказал я о тебе,  
что есть, мол, парень-хват,  
что он, мол, в поле и в избе  
на дело тароват.  
Ну вот, Андрей, и все пока. —  
Взглянул Широков на Дубка.  
— Я весь тебе не передам  
райзовский разговор,  
ты, вижу, понимаешь сам, —  
сказал Дубку Егор.

Сказал.

И повернул к себе —  
к широковской избе.

За кленами, за вербами  
 перегорит денек —  
 деды в читальню первыми  
 спешат на огонек.

Вослед идут за старыми —  
 и малые, и те,  
 кто с песней ходит парами  
 за лунными амбарами  
 с гармониками ярыми  
 в морозной тесноте.

Изба-читальня в зимние  
 часы —  
 уютный кров:  
 она гостеприимнее  
 окольных вечеров.

Просторна комната избы:  
 вождей портреты на стене,  
 цветы на красном полотне,  
 игра причудливой резьбы  
 в чуть примороженном окне.

Со стенгазетой уголок.  
 Стол посредине  
 в пять аршин.  
 В ушах — шумок,  
 в носу — дымок  
 сырого запаха овчин.

Как васильковая пчела,  
 над книгой школьники гудят.  
 Насупленные,

вкруг стола,  
деды-колхозники сидят.

Читают «Правду»,  
«Огонек»  
от первых до последних строк:  
об Индонезии спроси,  
о трех правительствах «оси», —  
забыли?  
Боже упаси:  
всю правду знают на зубок —  
от первых  
до последних строк.

Все люди знатные села  
сидят в избе вокруг стола:  
вот Прохор Силыч — кладовщик,  
вот тракторист —  
былой танкист,  
вот Тимофей Ильич, старик,  
коваль, колхозный активист,  
а рядом с ним —  
красна, ясна —  
сидит с январским «Огоньком»  
доярка Фекла Ильина:  
румянец —  
кровь с молоком!  
А в самом центре —  
пчеловод  
Степан Степаныч Топорков.  
Пред ним исписанный блокнот,  
футляр от запасных очков.  
Сидит, вперив глаза в строку:  
не все понятно старику.  
На переносице очки,

как марсианские зрачки.  
Он в этот вечер третий раз,  
как с продолжением рассказ,  
читает медленно статью  
об авиации в бою.  
Он непременно хочет знать:  
и как летит, и как бомбит.  
Уж коль приедет летчик-зять,  
тогда старик —  
ни дать, ни взять —  
с ним, как знаток, поговорит.

Пока читают мужики,  
в углах орудуют кружки:  
хромой солдат с ребятами  
беседует об атоме,  
о свойствах  
агрессивного  
снаряда реактивного.  
А чуть поодаль,  
на скамье,  
Дубок веселый, целый час,  
в густой мальчишеской семье  
о «языке» ведет рассказ:

— ...и вот ползу и вижу я:  
стоит лошак, сенцо жуя,  
а рядом — у запрудия —  
немецкое орудие.  
В каких-то рваных лоскутках  
маскировочный брезент,  
а рядом —  
часовой в очках,  
ну, словно не солдат, а так —  
корреспондент

или студент —  
интеллигент...

Ну, мыслю, боже помоги:  
с версту — свои,  
кругом враги,  
а ежли конь на привязи,  
так потрудись-ка — вывези!  
Я выжидаю свой момент  
и подкрадаюсь, значица:  
а часовой-интеллигент  
облокотился на брезент,  
не ведает, не прячется.

Луна светила —  
в самый раз:

легонько, мне — в зашеину,  
а вот ему-то — прямо в глаз.

Ну, как не взять трофеину?!  
И —

вспыхнула душа моя:

риск — дело благородное!

Пан иль пропал, — подумал я, —  
кипи, война народная!

И, этак, через полчаса,

без лишнего мучения,

доставил «языка» в лесок —  
по месту назначения...

Эх, если б только видел полк,

как под звездою ясною

летел мой конь,

как серый волк,

как в старой сказке серый волк

с Аленюю Прекрасною...

Дубок умолк...

Тем самым временем луна

остановилась у окна:  
как будто здесь ей нужно быть  
с тем, чтоб рукою смуглою  
рассказ дубковский закрепить  
своей печатью круглою.

К концу подходит книжица;  
к закрытию время движется.  
А завбиблиотекою,  
спокойствия владычица,  
стоит за картотекою  
так тихо, что не дышится.

Стоит невеста Ксения  
у книжного полка,  
светла, как воскресение,  
как радуга ярка:  
платок пуховый за плечом —  
в читальне тракторист;  
косынка брызжет кумачом —  
в читальне гармонист.

Стоит.  
И видно — глаз и бровь,  
и на щеке густая кровь,  
и губы —  
влюблены.

Стоит, сама себе любовь:  
Дубок пришел с войны!  
В глазах —  
огни-репейники:  
(сожжет парней в огне!)  
стоит, как зорька в тишине,  
как песнь  
о коробейнике,  
как сказка о весне!

Над Дубровкой уснувшей,  
над колхозной стороной,  
легкой тенью день минувший  
бродит по небу с луной.

Ходит сторож у амбара  
в затемненной стороне.  
Два удара.  
Три удара  
по морозной тишине.

В деревнях по всей России,  
от полночи до утра,  
звучно бьют сторожевые  
на подцепках буфера.

Рассыпают бриллианты  
резких звуков по стране:  
это сельские куранты  
бьют в морозной тишине.

Ходит сторож в шубе длинной,  
под ногами снег скрипит,  
за спиной его овчинной —  
дулом вниз — берданка спит.

Тишина Дубровкой правит.  
Только изредка во сне  
ворон древний прокартавит  
на заснеженной сосне.

Или полночь поторопят  
трубным кличем петухи,

иль испуганный воробыш  
выпорхнет из-под стрехи.

Или в рамовой оправе  
вспыхнет огонек, дрожа....

Этой ночью по Державе  
ходят с ружьями во славе  
у амбаров сторожа.

Ходит сторож по Дубровке  
взад, вперед — без остановки,  
под ногами снег скрипит,  
на плече берданка спит.

Рукава к земле — трубою,  
в плотном инее — треух.  
Ходит сторож.  
Сам с собою  
разговаривает вслух.  
Нелегка его работа:  
ночь — полвека на веку...  
Прямо, из-за поворота,  
тень подходит к старику.

- Кто идёт?
- Свои, Степаныч.
- Ты, Егорка?
- Будто — я.
- Экой дурень. Глядя на ночь,  
что не спишь-то?
- Так, Степаныч...
- Как же можно без спанья?
- Не до сна, Степаныч, что-то...
- Зря, Егорка. Сон — не стыд.

Вот уж сказано — пехота:  
спать охота, а не спит.  
— Как там хочешь,  
только ноне  
не могу, Степаныч, спать.  
По зерну зудят ладони:  
понимаешь, мне в районе  
завтра к делу приступать.  
Вот бессонница и мучит...

— Да, Егор,  
война научит:  
там забота, тут забота,  
бой и труд не забывай!  
То-то сказано — пе-хо-та:  
есть работа —  
подавай!

Дед не прочь вдвоем до света  
огороды городить:  
— Мой табак, твоя газета... —  
Раздвигает зев кисета,  
предлагает закурить.  
— Делай «козью», коз не жалко,  
дыма хватит до зари...  
(Вспыхивает зажигалка.)  
Нут-ка, братец, прикури...

Разговаривают. Курят.  
Дед с Егором балагурит.  
В два костра дымит махорка.  
Дед перчаткой греет нос.  
— У меня к тебе, Егорка,  
перезревший есть вопрос.  
Вот ответь мне начистую  
на сумнительность мою:

почему я здесь впустую  
в этой должности стою?  
— Как впустую?  
— Очень просто:  
сон — не мой, и труд — ничей.  
Мне еще осталось до ста  
двадцать лет таких ночей.  
А стою я целых девять  
лет у этого замка, —  
понимаешь, детка, — мне ведь  
за рога бы гнуть быка.  
А выходит: под овчиной  
всё шепчу, да бормочу,  
охраняю сон грачиный,  
да по буферу стучу.  
Ты, Савельич, понимаешь?  
Что ж я делаю всего?  
— Ты?  
— Ну да...  
— Оберегаешь...  
— Что?  
— Добро.  
— А от кого?  
От тебя? От Митрофана?  
От Наталии Седых?  
То-есть, значит, от обмана?  
То-есть, значит, от своих?  
От своих ходи медведем  
с этой пушкой на боку,  
намекай своим соседям —  
старикам, девицам, детям —  
я от вас, мол, берегу!  
Чем же душу нашу мерить,  
если в доме — мыслю я —  
сам себе должен не верить:  
я — семье, а мне — семья?

Вот солдат — другое дело:  
У солдата есть враги,  
гидра выпрет — значит смело  
власть Советов береги.  
Значит, бейся до последка,  
заслоняй Расею-мать!  
Как же так выходит, детка?  
Как же это понимать?  
Я, Егор, читать читаю,  
я в науке — частый гость,  
но свою не понимаю  
эту должность — ни на гвоздь!

— Ты, Степаныч, коль всерьез, —  
так вели, —  
я задам тебе вопрос.

— Ну вали...

— Сколько лет ты на Руси  
на посту?

— Ты, Егорушка, спроси  
темноту.

— Ты амбары сторожишь?

— Сторожу.

— А от страха не дрожишь?

— Не дрожу.

— Не случалась ли беда?

— Никогда.

— Не боишься, если вор?

— А откуда он, Егор?

Зорькой тянет от пригорка.  
В два костра дымит махорка.

— Ты, Степаныч, прав по сути,  
прав по поводу души.

Но ведь есть другие люди, —  
скажем прямо, есть гроши.

Вот и ходят, бьют баклуши —  
на твоём горбу — святы:  
коль у них не чёстны души —  
знать и руки не чисты.

Ведь не даром у народа  
есть пословица одна:  
мол, в семье не без уroda...  
Понимаешь, старина?..

А старик ехидно,  
с хода,  
два словца такого рода  
шлет ему исподтишка:  
— Да-а, в семье не без урода,  
а в селе... не без Дубка...

— Ты, Степаныч, больно шибко  
гнешь напраслину свою.  
Что Дубок? Дубок — ошибка,  
а дубковская ошибка  
не уродует семью.  
Дело, батя, не в Дубкове,  
я в виду имею тех,  
кто силен на хитром слове,  
ложью кто морочит всех.  
Вот зачем у нас, Степаныч,  
и замки и сторожа...  
Коль внутри у механизма  
есть соринка — дело ржа...

— А скажи — для коммунизма  
будут гожи сторожа?

— Поживи чуток — узнаешь,  
далеко не забегай.  
Ты амбары охраняешь?  
— Охраняю.  
— Охраняй.

18

Звезды падают с разбегу.  
Первый в избах огонек,  
первый луч сверкнул по снегу  
и споткнулся о пенек.

Первый вылет воробьиный,  
первый — к небу — журавель,  
первый клест трясет рябиной —  
клювом ранит красный хмель.

В первых звуках пробужденья  
очертания садов,  
да обвисшее гуденье  
телеграфных проводов,  
да возки вдоль чернотала,  
да звенящею тропой  
бег буланого Капрала  
с табуном на водопой,

да рогатое мычанье  
у колхозного крыльца,  
да на кузне токованье  
молоточков кузнеца,

да мелькнувший,  
отдаленный,  
на маршрутах ледяных

гром полуторки районной  
с тем же Сенькой Кузьминых,  
да вороний грай за чашей  
над забвеньем снегиря...

Начинался день слепящий:  
все зря,  
зря,  
зря.

И казалось людям:

это —

не восход зари вставал, —  
а сквозной,  
земной,  
родной

флаг над крышей сельсовета  
свет зари распространял.

*Констанца, май 1946 г.*  
*Москва, ноябрь 1946 г.*



Отв. за выпуск *А. Иванова*  
Художник *В. Тервинский*  
Технический редактор *Т. Евсеева*

---

Подписано к печати 9 апреля 1949 г.  
3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> печ. листа. 2,5 уч.-изд. листа.  
Тираж 10.000. Госиздат КФССР № 17.  
Зак. № 167. Формат бум. 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Е—05206. Цена 2 руб.

---

Сортавальская книжная типография  
Управления полиграф. промышлен-  
ности при Совете Министров КФССР  
г. Сортавала. Карольская ул. 32.

Цена 2 руб.